

В ожидании тишины

РОМАН



Настасья Глинская

В ожидании тишины

<https://litres.ru/74645154>

SelfPub; 2026

Аннотация

Анне Корнеевой тридцать пять. У неё хорошая работа в банке, светлая квартира и утра под Bon Jovi. Она путешествует до самой Патагонии, у неё есть подруга, с которой можно говорить обо всём, и молодой любовник, который ни о чём не спрашивает. А ещё она умеет слушать комнату: раньше, чем человек заговорит, она слышит, чего он боится.

В детстве на стене у неё висел ковёр. Если смотреть на него долго, из узора проступали королева, шут, обезьяна в кафтане и две рыбы. Анна давно научилась видеть, что прячется в узоре. Себя она разглядывать не привыкла.

Одной декабрьской ночью пойдёт снег, и тишина, которую она ждала всю жизнь, наконец наступит. Только окажется, что тишина бывает разной.

Роман о том, что люди видят друг в друге и чего видеть не хотят.

Содержание

В ожидании тишины	4
Часть первая. Стекло	5
Глава 1. Фон	5
Глава 2. Порог	17
Глава 3. В этом возрасте	25
Глава 4. Цаца	31
Глава 5. Ленты	38
Глава 6. Тишина	45
Глава 7. Аптека	52
Глава 8. Выключатель	59
Глава 9. Механика	66
Глава 10. Чужое детство	72
Глава 11. Хороший день	78
Конец ознакомительного фрагмента.	82

Настасья Глинская

В ожидании тишины

В ожидании тишины

Настасья Глинская

Часть первая. Стекло

Глава 1. Фон

Будильник стоит на шесть десять, но я просыпаюсь в шесть. Так уже полгода. Лежу с закрытыми глазами и слушаю, как просыпается дом. За стеной кашляет сосед. У него вчера был плохой день, и сегодня будет не лучше: я это слышу даже сквозь бетон, как слышат сквозь стену чужой будильник. Во дворе дворник скребёт лопатой по сухому асфальту, хотя снега ещё нет. Репетирует зиму.

Я не встаю, пока не включу музыку. Это правило старше моей карьеры. Палец находит телефон на тумбочке вслепую, колонка в углу тихо щёлкает, и в спальню входит Ник Кейв. Низкий голос, фортепиано, записанное будто в пустой церкви. Он поёт о сыне, которого потерял, и делает это так, что горе становится похоже на молитву, а молитва на разговор на кухне.

У меня есть теория: чтобы заглушить людей, нужен кто-то, кто чувствует сильнее них. Не громче звучит, а именно чувствует. Поп-музыка не помогает: в ней никто ничего не чувствует, там бит и фольга, и сквозь фольгу я всё равно слышу соседа. Русская тоже не помогает, она слишком близко: в ней каждое слово цепляется за что-то во мне, за кухню с

клеёнкой, за подъезд, за мамин голос. А Ник Кейв, Леонард Коэн, PJ Harvey, The National помогают. Они чувствуют на другом языке, и мои внутренние крючки за них не цепляются. Я понимаю каждое слово, даже те, что ускользают от англичан. Но слова ложатся не на меня, а рядом, как плед на кресло напротив.

На первом курсе я прочитала статью: когда человек говорит на чужом языке, он думает иначе. Решает спокойнее, боится меньше. Я перечитала её три раза, сидя на полу в библиотеке между стеллажами, и у меня дрожали руки, как будто мне сунули в ладонь запасной ключ от собственной жизни. Значит, можно быть другим человеком. Не переезжать, не менять фамилию. Просто заговорить по-другому.

И я заговорила. Сериалы без перевода, книги со словарём, песни, которые я расшифровывала на слух, останавливая и перематывая, пока не стиралась на фоне краска кнопки. Теперь у меня два голоса. По-русски я Анна Сергеевна, железная тётка из взыскания. По-английски я Анна. Без отчества, без прошлого, с лёгким смехом и словами, в которых нет ни одного осколка. Мне она нравится больше. Когда я выбираю тур в отпуск, я пролистываю все, где написано «русскоговорящий гид». Ищу дальше. Там, где никто не спросит меня, откуда я, тем голосом, которым спрашивают на родине.

Бывают утра, когда Кейв не справляется. Тогда я включаю что-нибудь громкое. Bon Jovi, «It's My Life». Aerosmith. Или Лану Дель Рей, если хочется лениво и красиво. И танцую.

На кухне, в пижаме, босиком, пока греется чайник. Плохо, неумело, руками больше, чем ногами, как танцуют люди, которых никогда не учили. Но живо, во всю силу, как будто внутри включили ток. Этого никто не видит. Это единственное, чего нет в моих сторис.

Под музыку я встаю. В гостиной светло и пусто. На полу свёрнутый коврик для йоги, серый, с логотипом студии на Патриарших. У стены рюкзак с прошлых выходных, ещё не разобранный: термос, фонарик, запасные носки, сухая глина на лямках, а то, что осталось в термосе, наверное, скоро обретёт собственную жизнь. Я ходила по тропе вдоль Протвы, двадцать три километра, одна, и на десятом километре перестала слышать что-либо, кроме своего дыхания и листьев под ботинками. Это было почти счастье. Почти, потому что на обратной дороге я поймала себя на том, что выбираю маршрут: тропа, жёлтые листья, мои ботинки в углу кадра, подпись «Там, где тихо».

Я знаю, как выглядит хорошая жизнь. Я видела её тысячи раз в лентах, в сериалах, в каталогах мебели. Йога по утрам. Походы по выходным. Овсянка с ягодами в керамической миске. Английский роман у кровати. Плед из исландской шерсти. Свечи, пахнущие инжиром. Я собрала себе всё это, как собирают домашнее задание по образцу. Я хорошо учусь по образцам. Нет только образца, как чувствовать себя внутри этой жизни. Этого в лентах не показывают.

Стены в квартире белые. Не молочные, не слоновая кость,

не «тёплый белый», как предлагал дизайнер. Белые. Ни одной фотографии. Только напротив дивана картина, единственное цветное пятно. Абстракция: бордовое, тёмно-синее, охра, узор, который переплетается сам с собой, как ветки на морозном стекле. Если смотреть долго, из узора проступают фигуры. Вот королева в пышном платье, с высоко поднятой головой. Вот обезьяна в кафтане, она что-то прячет за спиной. Вот шут в колпаке с бубенцами. Вот две рыбы, которые плывут навстречу друг другу и никак не встретятся. Я здороваюсь с ними по утрам, как с соседями по коммуналке. Утром они стоят смирно. К вечеру, когда я устаю, начинают двигаться.

Я купила её на выставке у молодого художника за сумму, которую не произношу вслух. Художник был очень красивый, и мне хотелось, чтобы он запомнил, кто купил его самую дорогую работу. Он запомнил меня ровно на один ужин. А через месяц я поняла, на что она похожа. На бабушкин ковёр в деревне. Там тоже жили королева, шут и рыбы. Я заплатила за них второй раз, теперь с шестью нулями.

Белый ни о чём не врёт. Поэтому я его и выбрала.

Выходя, я закрываю дверь и смотрю вниз, на порог. Секунда. Щель между дверью и косяком. Щелчок замка. Там ничего нет. Там никогда ничего нет.

В машине подкаст: две британки обсуждают роман, которого я не читала, и смеются так, как смеются люди, у которых в детстве был сад и кто-то читал им на ночь. Я повторяю

за ними одно выражение вслух, в пробке на Садовом, приподняв брови, с их интонацией. Водитель соседней машины смотрит на меня и улыбается. Думает, я пою.

Лифт до тридцать второго этажа идёт сорок секунд. Я знаю это, потому что однажды посчитала, а потом уже не могла перестать. Первые двадцать секунд я ещё Анна, которая смеётся с британками. За следующие двадцать я собираю Анну Сергеевну, которую ждут наверху. В зеркальной стенке женщина в сером костюме. Рыжие волосы убраны так, будто они никогда не выбивались. Помада нейтральная: не «смотрите на меня», а «я здесь главная, но вам необязательно об этом думать». Тридцать пять лет. Я ей киваю. Она мне тоже.

В приёмной меня встречает Кристина. Двадцать четыре года, ноги от ушей, ресницы, нарощенные так густо, что каждый взмах производит небольшой сквозняк. Она очень красивая и очень глупая, и не знает ни того, ни другого. Нет, первое знает. Она напоминает мне Сидни так точно, что первые два месяца меня передёргивало, когда она смеялась. Она не перепутала ни одной встречи в моём календаре и не прочла ни одной книги до конца. Выше секретарши она не вырастет, и ей это и не нужно: ей нужен кто-то из правления, с домом в Нагорной, и она смотрит на лифты так, как рыбак смотрит на поплавок.

— Анна Сергеевна, доброе утро! У вас комитет в десять, все в «Байкале». И ещё Тимур заходил, сказал, что зайдёт после.

— Спасибо, Кристина.

У неё на столе зеркальце в стразах и кактус в горшке в форме единорога. Я ей завидую. У неё в голове тишина, как в пустом трамвае на конечной, и она даже не знает, какое это сокровище.

Переговорная называется «Байкал». Все переговорные у нас названы озёрами, как будто кто-то в административном отделе однажды решил, что банкирам не хватает природы. Стекланные стены, за ними стеклянный город, и в каждом стекле отражается ещё одно. Москва вообще так устроена: кругом стекло, всё блестит, а насквозь ничего не видно.

Я вхожу. И, как всегда, сначала слышу.

Не голоса, все уткнулись в телефоны. Я слышу комнату. В детстве это называлось «не лезь к отцу, у него нет настроения», и я научилась слышать, кто в каком состоянии, раньше, чем считать. Комната звучит как трансформаторная будка: ровный гул, а под ним, если прислушаться, щелчки.

Первый щелчок: Олег Викторович, финансовый директор. Сидит слишком прямо для человека, у которого всё хорошо, и улыбается мне на два зуба шире обычного. В его презентации есть что-то, что, как он надеется, проскочит незамеченным. Олег Викторович хороший человек и плохой лжец: оба качества написаны у него на лбу крупным шрифтом.

Второй: Марина из юридического. Боится не его, а за себя, и не сегодня, а вообще. Двое детей, ипотека и муж, который

третий год «ищет себя». Её страх лежит под всем, что она делает, как подкладка под пальто. Пропускаю.

Третий: Кирилл, новый заместитель по рискам. Тридцать один год, хорошие часы, плохая осанка. Пришёл три месяца назад и уже меня ненавидит, хотя сам пока не догадывается. Думает, что у него «вопросы к методологии». На самом деле ему нужно моё кресло. Отдел с лучшими цифрами в банке, и меня в нём быть не должно. Это видно по тому, как он смотрит на дверь моего кабинета, проходя мимо: так смотрят на квартиру, которую уже решили купить и прикидывают, где поставить диван. Я поняла на второй день, когда он сказал мне в лифте «доброе утро» на полтона выше, чем говорит Кристине. Люди, которые нас ненавидят, почти всегда стараются быть вежливее. Это их и выдаёт.

И четвёртый, главный: председатель. Он ещё не пришёл, но его кресло уже звучит. Пустое кресло начальника всегда звучит громче занятого.

— Анна Сергеевна, — шепчет Марина, — а это у вас линзы?

— Нет.

— Серьёзно? Такой цвет...

Меня спрашивают об этом с четырнадцати лет. Бирюзово-зелёные, цвета бутылочного стекла на солнце. Единственное, что во мне по-настоящему красиво, и именно в это никто не верит. Даже удобно: пусть думают, что поддельное во мне именно это.

Председатель входит в десять ноль два. Он всегда опаздывает на две минуты, чтобы мы успели почувствовать, как его ждём. Садится. Гул выравнивается, как будто кто-то подкрутил регулятор.

— Поехали.

Комитет по проблемным активам. Звучит как диагноз, и в каком-то смысле это он и есть. Где-то в этом городе и в двухстах других живут люди, которые взяли у нас деньги и не вернули. Они отключают телефоны, переписывают машины на тещ, разводятся на бумаге, умирают. Мой отдел их находит. У меня самые лучшие цифры в банке третий год подряд, и председатель зовёт меня при всех «наш сапёр».

Кирилл, конечно, находит, что спросить. Приподнимает пальцы над столом, будто отгоняет мошку: «А не оптимистично посчитан возврат по малому бизнесу?» Ему не кажется. Ему хочется. Это разные вещи, и между ними вся моя работа. Я отвечаю ровно, почти нежно, как будто мне льстит, что кто-то так внимательно читает мои отчёты. На третьей цифре он сдаётся, не вслух, а плечами.

Потом Олег Викторович. Сорок слайдов, и тридцать восемь из них правда. Я слушаю, где он ускорится: человек, который врёт, почти никогда не врёт медленно. На двадцать шестом слайде он начинает тараторить: резерв по застройщику «Северного квартала», два корпуса стоят с весны, краны замерли над пустыми этажами, как жирафы, забывшие, зачем пришли. По его цифрам резерва хватает. По моим

ощущениям, у него вспотела шея.

Я могу сказать, что цифры не сходятся. Кирилл будет счастлив, а Олег Викторович через полгода найдёт способ меня уколоть: люди не прощают, когда их ловят при начальстве. Я могу промолчать, и через квартал дыра всплывёт сама.

— Олег Викторович, — говорю я самым будничным голосом, на какой способна, — а по «Северному кварталу» у вас уже учтены данные последнего выезда? Тимур был там в пятницу. Я пришлю отчёт, может, пригодится для уточнения.

Пауза длится полсекунды. Для всех это просто пауза. Для меня это звук, с которым человек понимает, что его увидели, и одновременно, что его не сдали.

— Да, конечно, пришлите. Мы как раз планировали уточнять.

Они не планировали. Теперь планируют. Резерв вырастет на следующей неделе, и Олег Викторович будет мне должен. Не деньги. Хорошее отношение. В нашем банке это валюта покрепче рубля. Председатель отрывается от окна и смотрит на меня секунду. Он тоже кое-что слышит, поэтому он и председатель.

После комитета в мой кабинет заходит Тимур. Он не стучит. У него право не стучать, единственного в банке. Бывший опер, сорок лет, сломанный нос, чётки на запястье, которые он теребит, когда думает. Он у меня отвечает за выез-

ды, за безопасность и за всё, что нельзя написать в отчёте. Условно говоря, решала. Он всегда входит так, будто проверяет, нет ли в комнате снайпера.

— Сафронов, — говорит он. — Балашиха. Четырнадцать миллионов, три выезда, три раза не открыл. Хочешь сама?

Он единственный, кто зовёт меня на «ты». Я разрешила ему это в первую же неделю, потому что услышала: у него внутри нет ни одного закоулка, в котором он бы меня презирал.

— Хочу, — говорю я. — В среду.

Коридор, Марина: «Анна Сергеевна, как вы всё успеваете? Столько работы, столько ответственности, и всё у вас в лучшем виде». И моё дежурное: «Просто боюсь, что мама узнает, что я плохо работаю». Марина смеётся. Я тоже. Шутка всегда работает, и я никогда не могу точно сказать, шутка ли это.

В туалете на тридцать втором хороший свет: в нём все выглядят чуть лучше, чем есть. Я держу запястья под холодной струёй. Уже начинается: ломота за глазами, кожа тонеет, как перед гриппом. К вечеру будет тридцать семь и шесть. Так бывает после каждой встречи, где больше трёх человек. Терапевт сказала «психосоматика» и выписала витамины. Хорошие, такие в аптеке не стыдно покупать.

Из офиса я выхожу в восемь. В наушниках Portishead: голос Бет Гиббонс ломается, как старая пластинка, и это так красиво, что я прохожу мимо своей парковки. Москва вся в

огнях, как витрина. Когда я только переехала, мне казалось, что я наконец попала к своим. Потом я поняла, что большинство просто блеснит, а я умею ещё и видеть, кто как блеснит.

Дома я завариваю чай с имбирём, забираюсь под исландский плед и включаю «Друзей». Седьмой сезон, Моника и Чендлер выбирают место для свадьбы. Я видела эту серию раз двадцать и проговариваю реплики за секунду до того, как их скажут. В этом и смысл. В этой квартире в Нью-Йорке никто никогда не скажет ничего, чего я не жду. Никто не соврёт, никто не ударит. Записанный зал смеётся в нужных местах, и я смеюсь вместе с ним, как смеются в компании, где все свои.

Иногда в такие вечера я фантазирую. Ярко, с запахами и цветом. Что у меня тоже есть такая квартира, с кирпичной стеной и продавленным оранжевым диваном, и дверь там никогда не запирается, все входят без стука, и никому не страшно. Что в десять вечера звонит подруга: «Спускайся, я внизу, поехали есть фо-бо». И я спускаюсь в пижаме под пальто, и в машине играет что-то глупое и счастливое, и мы орём припев в открытое окно, и ноябрьский воздух пахнет бензином и кинзой. Я вижу это так ясно, что чувствую на языке бульон и слышу её смех. У неё нет лица. В моих фантазиях у друзей никогда нет лиц.

Серия кончается. За титрами белые стены. На картине обезьяна в кафтане чуть повернула голову.

Я открываю телефон. Блог Джейн: рынок в Провансе, трое

детей в одинаковых соломенных шляпах. Лайк. Мои утренние сторис с тропой посмотрели сорок три человека. Среди них «Cinderella». Я улыбаюсь в потолок.

Потом открываю чат «Мама». Последнее сообщение моё, месячной давности. Ниже ничего.

Я печатаю: «Сегодня был комитет». Смотрю на эти слова. Стираю. Печатаю: «Председатель доволен. Хотя тебе-то что». Стираю и это.

Лучше позвоню, думаю я. Просто позвоню, как нормальные люди. Палец застывает над зелёной трубкой. Я считаю до двадцати, как когда-то у бабушкина окна. На двадцати кладу телефон экраном вниз.

Завтра. Позвоню завтра.

За стеной сосед с плохим днём ссорится с женой. Я знаю, кто из них сейчас врёт. Я всегда знаю. Я надеваю наушники, включаю старого Коэна, с его голосом, похожим на гравий под ногами, и лежу в темноте, пока белые стены не становятся серыми. Это единственное, что они себе позволяют.

Глава 2. Порог

Закон разрешает нам приходить к должнику не чаще раза в неделю, с восьми утра до десяти вечера, в будни. Закон написан людьми, которые никогда не стояли на лестничной клетке пятиэтажки, пахнувшей жареным луком и чужой бедой, но в целом он разумный. Я его уважаю. Я вообще уважаю правила, у которых есть край.

Сафронов Игорь Валентинович, сорок четыре года. Строительная фирма на двенадцать человек, кредит на технику, два экскаватора и самосвал. Платил четыре года без единой просрочки, а с весны перестал. Технику продал ещё летом, деньги ушли неизвестно куда. Тимур, конечно, знает куда: на лечение жены, частная клиника, потом другая. Жена умерла в августе. Это в отчёте не пишут, это у Тимура в голове, рядом с номерами машин и фамилиями участковых.

— Сам поедешь? — спрашиваю я утром.

— Ты сказала, сама хочешь.

— Хочу. Ты рядом.

Он кивает. Тимур никогда не спорит со мной при людях, а наедине спорит редко и коротко, как бьёт: один раз и в точку. Сегодня он молчит. Значит, считает, что я права, или что спорить бесполезно. Для него это одно и то же.

Мы едем по Горьковскому шоссе. Небо цвета старой алюминиевой кастрюли. Я не включаю музыку, потому что пе-

ред выездом мне нужно слышать себя, а Тимур не включает радио, потому что при мне не включает ничего. Он ведёт машину так, будто за нами хвост, хотя хвоста за нами нет уже лет пятнадцать, с тех пор как он ушёл из органов. Чётки ходят у него на запястье, косточка за косточкой.

Балашиха встречает нас торговым центром размером с аэропорт и сразу за ним рядами пятиэтажек, у которых давно стёрлись лица. Дом Сафронова стоит в глубине двора, за гаражами. На лавке у подъезда никого: октябрь, холодно. На двери домофон с выдранный кнопкой «вызов», и кто-то, судя по всему давно, подпёр дверь кирпичом. Тимур отодвигает кирпич носком ботинка, и мы входим.

Лифта нет. Седьмой этаж, сказано в деле, но в пятиэтажке седьмого этажа быть не может, и я на секунду радуюсь ошибке, как отсрочке. Потом соображаю: дом не пятиэтажный, а девятиэтажный, просто я посчитала окна только до того места, где они перестают быть видны из-за деревьев. Я хорошо считаю людей и плохо считаю окна.

На седьмом этаже три двери. Сафронова справа, обита дерматином, когда-то бордовым. Из-под двери тянет теплом. Я прикладываю ладонь к косяку, будто проверяю, нет ли пожара. Это привычка. Я так слушаю.

Они дома. Двое. Один взрослый, мужчина, он стоит в коридоре, совсем рядом с дверью, и не двигается: так не двигаются люди, которые надеются, что если замереть, их не станут. И кто-то маленький, лёгкий, ближе к кухне. Ребёнок.

Я звоню.

За дверью тишина такой плотности, что её можно резать. Потом шаги, лёгкие, шаркающие, в тапках на два размера больше. Мужской голос шепчет что-то короткое. Замок щёлкает, и дверь открывается на цепочку.

— Папы нет дома.

Девочка лет десяти. Светлые волосы собраны в хвост резинкой с пластмассовой клубничкой. Растянутая футболка с единорогом, такая, какие продают в переходах. Она говорит это не мне, а куда-то в район моей пуговицы, и говорит заученно, с правильной интонацией, как стихотворение на утреннике.

— Привет, — говорю я. — Как тебя зовут?

Она молчит. Потом решает, что имя не входит в то, что ей запретили.

— Даша.

— Даша, мы ненадолго. Передашь папе кое-что?

Тимур рядом не шевелится. Он умеет стоять так, что его как бы нет, и это при его росте и сломанном носе отдельное искусство. Но Даша на него всё равно смотрит. Дети всегда смотрят на того, кто опаснее, даже если он молчит.

И тут я замечаю свою улыбку.

Я её не надевала. Она сама. Это улыбка для должников, ровная, тёплая, со спокойными глазами. Улыбка, которая говорит: я понимаю, мы взрослые люди, всё решаемо. Я делала её тысячу раз, и она тысячу раз работала. Взрослые от

неё расслабляются, потому что взрослым надо, чтобы кто-то сказал им, что всё решаемо.

А у Даши от неё сжимаются пальцы на ручке двери.

Я знаю эту улыбку с другой стороны. Мне было лет десять, может, меньше. Звонок в дверь, я открываю, никого не спросив, потому что ждала маму. На пороге двое мужчин в кожаных куртках. Один спрашивает, дома ли папа. Я говорю, что нет, и тяну дверь на себя, и тогда второй ставит ногу в щель. Не грубо, а так, словно это само собой. И улыбается. Он что-то ещё спрашивает, я не помню что. Я помню только ботинок, коричневый, со стёртым носком, и улыбку над ним. Ровную, тёплую, со спокойными глазами.

Двадцать пять лет я закрываю дверь и смотрю вниз, на порог. А сейчас стою по эту сторону и улыбаюсь его улыбкой.

Я пытаюсь её убрать, и это оказывается труднее, чем кажется. Лицо не слушается: оно годами училось улыбаться именно так, на комитетах, на переговорах, в лифте, и не понимает, чего я от него теперь хочу. Я сжимаю губы. Расслабляю. Пробую сделать лицо просто никаким, как у человека на остановке. Получается не сразу. Даша всё это время смотрит на меня, и я вижу, что она видит: тётя за дверью почему-то перестала улыбаться, и от этого стало не страшнее, а спокойнее.

— Вот, — я протягиваю ей визитку в щель над цепочкой. — Скажи папе, что приходила Анна Сергеевна из банка. Что можно позвонить мне напрямую. Что я не кусаюсь. Запом-

нишь?

Даша берёт визитку двумя пальцами, как берут что-то горячее. Смотрит на неё. Потом на меня. Потом, очень быстро, назад, в темноту коридора. И снова на меня.

— Хорошо, — говорит она. — Если он придёт.

— Спасибо, Даша.

Дверь закрывается. Замок щёлкает дважды. Я стою ещё секунду и слышу, как за дерматином мужчина выдыхает, долго, будто держал воздух с того момента, как мы вошли в подъезд. Потом что-то тихо говорит дочке. Я не слышу слов. Я слышу интонацию: так говорят, когда стыдно до тошноты.

На лестнице Тимур идёт впереди. Между пятым и четвёртым на подоконнике стоит банка из-под горошка, полная окурков, и рядом засохший букет в бутылке из-под кефира. Кто-то здесь курит и кто-то здесь любит. Иногда это один и тот же человек.

На третьем этаже Тимур останавливается.

— Анна Сергеевна.

Он зовёт меня на «ты», но на выездах переходит на «Анну Сергеевну». Это у него вместо кобуры.

— Знаю.

— Можно было...

— Нельзя.

Он больше ничего не говорит. В машине я открываю отчёт о выезде. Там есть одна строка, от которой зависит, что будет с этой семьёй дальше. Если я напишу «должник нахо-

дился по месту жительства, от контакта уклонился», Сафронов станет злостным. Дело быстрее уйдёт юристам, к нему зачествят, поедут к сестре за машиной, начнут обходить соседей. И через неделю на этот седьмой этаж снова поднимутся двое, и дверь им снова откроет Даша, потому что взрослые всегда посылают открывать детей.

Я пишу: «По месту регистрации должник отсутствует. Контакт с членом семьи, оставлены контактные данные». Даша действительно член семьи. Визитку я действительно оставила. Неправда здесь только одно слово. Отец был в двух метрах от меня, в тёмном коридоре, и я слышала, как он не дышит. Я перечитываю и отправляю.

Тимур видит, что я написала, хотя не смотрит в экран. Он заводит машину.

— Перезвонит, — говорит он. — Такие перезванивают.

— Перезвонит, — соглашаюсь я.

Не надо думать, что я добрая. Я экономлю. Злостный должник стоит банку юристов, приставов, полтора года и в итоге половину суммы. Мужчина, которого не унизили на глазах у дочери, иногда находит деньги там, где их нет. Это просто разные стратегии взыскания. Так я напишу, если спросят. Никто не спросит.

По дороге назад у меня начинается температура. Я чувствую её затылком, как чувствуют чужой взгляд. Тимур включает печку, не спрашивая. Он единственный, кто замечает.

— Тебе бы отлежаться.

— Мне бы отвлечься.

Он хмыкает. Он знает, что это значит, и знает, что это не его дело. За это я его и держу.

Вечером я пишу одно слово на номер, подписанный в телефоне буквой «Р»: «Сегодня?» Ответ приходит через четыре минуты: «В десять». Без заглавной буквы, без точки. Он вообще не тратит знаки препинания. Он тратит бензин.

Роме двадцать пять. Он чинит мотоциклы в боксе под Мытищами и ездит на таком, у которого звук, как у небольшой грозы. У него руки в старых ожогах от глушителя, широкие плечи и лицо, за которое в эпоху Возрождения платили бы натурщикам. Он ни разу не спросил меня, где я работаю. Я ни разу не спросила его, сколько он зарабатывает. Мы друг другу очень подходим.

В десять он звонит в домофон. Он единственный, кто бывает у меня дома, и всегда по договорённости, никогда наобум. Это моё условие, и он ни разу его не нарушил. В прихожей он снимает ботинки, ставит их ровно, носками к стене, как в армии, и смотрит на белые стены, как в первый раз. Каждый раз как в первый.

С ним просто. Его чувства лежат на поверхности, как камешки на дне мелкой речки: вот он устал, вот он хочет, вот ему приятно, вот он доволен собой. Никаких щелчков, никакого гула под полом. Он не врёт, потому что ему не о чем. Я лежу потом рядом и слушаю, как он дышит, и в голове у

меня впервые за день не стоит ни одного человека. Ни Даши, ни её отца, ни Кирилла с его плечами.

Потом он поворачивается ко мне, и я вижу: сейчас он что-то скажет. У него на лице поднимается слово, как пузырьёк.

— Слушай, а ты...

Только ничего не говори. Только молчи.

Я кладу палец ему на губы. Он улыбается под пальцем, послушно, как мальчик, которому сказали, что сейчас нельзя. Он целует палец и закрывает глаза.

В половине первого он уходит. Я закрываю за ним дверь и смотрю вниз. Секунда. Щель. Щелчок замка. Ничего.

Телефон на тумбочке мигает. Письмо с работы, автоматическое: отчёт о выезде принят, статус должника «в работе». Ниже, в другом окне, чат «Мама». Я его не открываю. Я смотрю на картину. Шут в колпаке, кажется, стоит теперь ближе к королеве, чем утром. Я выключаю свет, чтобы не проверять.

Глава 3. В этом возрасте

В субботу я еду в центр на метро. Машину оставляю под домом. Мне нравится метро по выходным: люди в нём другие, без портфелей и без пятничной ненависти друг к другу. Едут к кому-то, а не от кого-то. Их можно слушать, как слушают радио в чужой машине: громкость ниже, чем хочется, станции переключаются сами.

Пальто я присмотрела две недели назад в магазине на Петровке. Кашемир с шерстью, цвет верблюжий, но не тот, что у всех, а темнее, ближе к табаку. Длинное, прямое, с широкими плечами, в каком хорошо выходить из машины и плохо стоять на остановке. Стоит как подержанная иномарка. Я дважды заходила, мерила и уходила.

Продавщица меня узнаёт. Ей лет двадцать восемь, у неё аккуратный пучок и усталость, которую она прячет под вежливостью, как под тональным кремом. Я слышу, что у неё болит поясница и что она поссорилась с кем-то утром по телефону, и что ссора была про деньги. Она приносит пальто, и я надеваю его в третий раз.

В зеркале стоит женщина, у которой всё получилось.

Мама бы сказала, что дорого.

Она бы потрогала рукав двумя пальцами, как трогают на рынке рыбу, скривила бы рот и сказала: «За такие деньги можно было ремонт сделать». Или: «Ну и куда ты в нём? На

работу? Там все в таких?» Или ничего бы не сказала, просто посмотрела, и это было бы хуже всего. У неё был такой взгляд, прицельный, снизу вверх, хотя ростом я давно её выше. Взгляд, которым считают сдачу.

Я беру пальто. Продавщица заворачивает его в бумагу, как подарок, и я смотрю, как её руки, быстрые, с коротким маникюром, складывают рукава крест-накрест, будто укладывают кого-то спать.

Обратно я еду тоже на метро. Пакет стоит у меня между ног, большой, глянцевый, с логотипом, и на него поглядывают. Мне это приятно. Я делаю вид, что мне всё равно, и от этого приятно вдвойне.

Напротив меня садится девушка лет двадцати пяти. Пуховик, огромный шарф, кольцо в носу, тонкое, серебряное. У неё звонит телефон, и она закатывает глаза так, что я вижу белки.

— Мам. Мам. Ну мам. Я же говорила, я в субботу не могу. Нет. Нет, я не забыла. Я помню, что у тебя давление. Ты мне каждый день говоришь, что у тебя давление.

Из трубки льётся что-то ровное, непрерывное, как гудение холодильника. Слов не разобрать, но я узнаю мелодию. Ты меня не любишь. Я тебя растила. У других дети как дети.

— Ладно, мам. Ладно. Да. В воскресенье. Пока.

Девушка опускает телефон на колени, экраном вниз, и смотрит в чёрное окно вагона, в котором отражается её лицо и, чуть дальше, моё. Она выдыхает. Я знаю этот выдох. Я его

выдыхала тысячу раз.

Я наклоняюсь к ней.

— Моя такая же, — говорю я. — Они все такие в этом возрасте.

Она поднимает глаза. Секунду решает, псих я или своя. Видит пальто в пакете, видит мои глаза. Решает, что своя.

— Правда? Ваша тоже?

— Всегда про давление. Всегда «у других дети как дети».

— Вот! — говорит она так громко, что на нас оборачивается мужчина с рассадой в коробке. — А если ей что-то рассказываешь, она сразу «это что, а вот у меня»!

— А она пропускает мимо ушей всё хорошее и запоминает только плохое?

— Да!

Мы смеёмся. Две незнакомые женщины в вагоне метро, сообщницы. Она рассказывает: мать живёт в Твери одна, звонит по три раза в день, требует отчёта, где была, что ела, почему такой голос. Отец ушёл давно. Подруг у матери нет, все дуры. Соседи все алкаши. Врачи все взяточники. Я киваю. Я добавляю детали, и все попадают: про лекарства в пакетике на холодильнике, про то, что она никогда не спрашивает, как у тебя дела, а когда спрашивает, лучше бы не спрашивала.

Я слушаю её и одновременно собираю. Как собирают пазл с одной картинкой из чужих коробок. Вот давление. Вот «у других дети как дети». Вот подруги-дуры. Это не моя мама.

Но моя мама такая же. Они все такие в этом возрасте, правда же.

— А вы ей звоните? — спрашивает девушка.

— Я пишу.

— И она отвечает?

— Когда как.

На «Семёновской» она выходит. На прощание касается моего рукава, легко, как старой знакомой.

— Спасибо. Вы прямо... Ну, спасибо.

Ей и правда стало легче. Я чувствую, как с неё сходит что-то тяжёлое, как мокрая одежда, и как это тяжёлое, мокрое, перебирается ко мне, на сиденье, на колени, поверх пакета с пальто. Я так устроена. Люди уходят от меня облегчёнными, а я остаюсь с их поклажей. Иногда я думаю, что из меня вышел бы хороший носильщик в аэропорту, если бы чемоданы были из чужих обид.

Двери закрываются. В тёмном стекле напротив теперь только моё лицо. Рыжие волосы, бирюзовые глаза, пальто в пакете. Женщина, у которой мама такая же.

Дома я разворачиваю бумагу. Вешаю пальто на плечики, на дверцу шкафа, и отхожу на три шага, как в музей. Белая стена за ним делает его ещё дороже. Потом я фотографирую его так, чтобы в кадр попал край картины: охра, бордовое, хвост одной из рыб. Подпись не придумывается. Я убираю телефон.

Потом снова беру и открываю чат «Мама».

«Купила себе пальто. Ты бы сказала, что дорого. Ну скажи».

Отправляю. Одна серая галочка. Вторая не появляется. Она никогда не появляется сразу.

Я хожу по квартире. Ставлю чайник, не дожидаясь, пока закипит, выключаю. Девушка из метро сейчас, наверное, уже дома, может, уже перезвонила матери сама, без повода, просто так. Может, сказала ей: мам, я тебя люблю, только не начинай. Может, нет.

Лучше позвоню, думаю я.

В этот раз палец не застывает. Я нажимаю зелёную трубку так быстро, словно боюсь, что передумаю на середине движения. Прижимаю телефон к уху. В голове уже готова первая фраза, нейтральная, без упрёков: «Привет, это я, как ты». Без вопросительного знака. Вопросительный знак она бы услышала.

В трубке щёлкает. Пауза. Потом женский голос, вежливый и совершенно пустой, как стерилизованный бинт:

«Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети».

Я слушаю его до конца. Потом ещё раз, по-английски. The subscriber you have dialed. Я сбрасываю.

Ну конечно. Телефон у неё сел. Она вечно забывает его зарядить, она бросает его на подоконнике и уходит, а потом обижается, что никто не звонит. Или она у кого-то. В субботу вечером она могла быть где угодно. У неё всегда были свои

субботы, в которые мне не было хода.

Или она меня заблокировала. Это тоже на неё похоже. Сделать так, чтобы я дозвонилась до пустого голоса и поняла, каково это.

Я кладу телефон на стол экраном вниз, ровно, параллельно краю. Пальто висит на дверце шкафа и смотрит на меня широкими плечами. Мне вдруг кажется, что оно стоит как человек, который пришёл и не решается сесть.

Час спустя я открываю чат ещё раз. Под словами про пальто по-прежнему одна серая галочка. Я пишу ниже:

«Ладно. Не говори».

На картине обезьяна в кафтане прячет что-то за спиной. Я столько раз пыталась разглядеть, что именно, и каждый раз узор складывается иначе. Сегодня мне кажется, что это телефон. Глупость. Я выключаю верхний свет и оставляю только лампу у дивана, жёлтую, низкую, при которой фигуры на картине сидят смирно и никуда не уходят.

Глава 4. Цаца

В деревню меня отвозили в первых числах июня и забирали в последних числах августа. Три месяца, целиком, без выходных. Ни моря, ни лагеря, ни дачи с подружками. Только автобус, два часа по разбитой дороге, и бабушка в конце пути. Тогда я не задавала вопросов. Теперь задаю, но спрашивать некого.

Автобус был жёлтый, «пазик», с дерматиновыми сиденьями, которые к полудню нагревались так, что голыми ногами на них нельзя было сесть. Мама сажала меня у окна, говорила водителю, где высадить, и отдавала ему пакет с конфетами «за беспокойство». Целовала меня в макушку быстро и сухо, как ставят печать. Я смотрела, как она уходит через площадь к остановке, не оборачиваясь, в босоножках на каблуке, и думала, что она очень красивая. Ей тогда был тридцать один год. Она шла так, будто за ней кто-то смотрит из каждого окна. Наверное, так и было.

Тем летом мне было тринадцать.

Деревенская остановка: бетонный навес, исписанный от пола до потолка, и лавка, на которой никто никогда не сидел, потому что на ней всегда лежало что-нибудь, от чего лучше держаться подальше. За остановкой поле, за полем лес, а между ними тридцать дворов, магазин, ферма, которая уже тогда наполовину не работала, и клуб с дискотекой по суб-

ботам.

Бабушка ждала у калитки. Она никогда не выходила встречать к автобусу. Она стояла у калитки, сложив руки на животе, в платке, повязанном назад, и смотрела, как я иду по улице с сумкой. Это было что-то вроде экзамена. Если я шла быстро, она говорила «куда несёшься». Если медленно, «чего плетёшься». Я научилась идти ровно посередине.

Бабушку в деревне боялись. Не за что-то одно, а в целом, как боятся погоды. Она двадцать лет была бригадиром на ферме и говорила вслух то, что все думали молча. Однажды на собрании сказала председателю колхоза, при всех, сколько он вывез с фермы комбикорма и кому продал, и назвала цифру с точностью до мешка. Председатель потом три дня не выходил из дома. Соседского Витьку, который по пьяни полез к своей жене с ремнём, она вывела во двор за ухо и держала так, пока он не протрезвел. Витьке было тогда сорок. Мужчины, проходя мимо её калитки, замолкали на полуслове, как будто звук выключали.

А мне с ней было спокойно.

Я тогда не понимала почему. Теперь понимаю. Бабушка была вся снаружи. Если она злилась, она злилась сразу и целиком, словами, без подкладки. Если была довольна, говорила «ну». Одно короткое «ну», и в нём было всё одобрение мира. У неё не было второго дна, не было погоды под погодой. После нашей квартиры, где воздух менялся от того, как хлопнула входная дверь, где по шагам отца в подъезде надо

было угадать, какой будет вечер, бабушкин дом был как ровный пол после палубы.

Дом пах сухим деревом, печкой и яблоками, даже в июне, когда никаких яблок ещё не было. Он пах ими, наверное, просто по памяти. В большой комнате над кроватью висел ковёр. Огромный, во всю стену, бордовый с тёмно-синим и охрой, с узором, который переплетался сам с собой, и если смотреть в него долго, из узора проступали фигуры. Королева в пышном платье. Обезьяна в кафтане, что-то спрятавшая за спиной. Шут с бубенцами. Две рыбы, которые плывут друг к другу и никак не встретятся. Я лежала на этой кровати каждую ночь и разговаривала с ними про себя. Королева была строгая и справедливая, как бабушка. Шут смешил. Обезьяна была хитрая, и я так и не узнала, что она прячет. Рыб мне было жалко.

В этом доме, за стенкой, умерла моя прабабка. Мне было лет пять. Я проснулась ночью и захотела в туалет, а дорога на веранду шла через комнату, где она лежала. Я знала, что она умерла. Мне не объяснили, но я знала: в доме стало по-другому тихо. Я пробежала через ту комнату, не глядя, и выскочила на веранду. Было четыре или пять утра. Рассвет только начинался, серый, мокрый. И холод, рассветный, деревенский, вперемешку с запахом навоза от соседского хлева. Я до сих пор не выношу эту прохладу. Летом, если я рано выхожу из дома и ветер приносит что-то похожее, меня передёргивает так, что я останавливаюсь посреди тротуара.

Деревенские ждали меня. Меня звали «городская», а за глаза «цаца». Я узнала это на второй день и не обиделась. Цаца это не обидно. Цаца значит: другая, не наша, интересная.

И вот на второй или третий вечер, на брёвнах у клуба, меня спросили: а как там, в городе?

И я поняла одну вещь. Никто из них никогда не приедет ко мне домой. Никто не позвонит в нашу дверь, не увидит наш коридор, не услышит, как отец возвращается в одиннадцать вечера. Никто никогда не проверит.

Я рассказала, что у отца своя фирма. Что мама работает в администрации, в отделе, который «решает вопросы», и что к ней приходят люди с конвертами, но она не берёт. Что у меня своя комната с плакатами и телевизором. Что прошлым летом мы ездили на море, в Анапу, и там я плавала с дельфином. Про дельфина я придумала прямо на ходу, глядя на то, как у Ленки Сычёвой раскрывается рот. Мне понравилось, как раскрывается рот у Ленки Сычёвой.

Я не считала это враньём. Я считала это другой версией. Той, которая могла бы быть, если бы всё сложилось. В деревне я её примеряла, как примеряют мамины туфли, когда никого нет дома.

В то лето был Женька.

Женька был на год старше, тощий, белобрысый, с облупленным носом и манерой смотреть исподлобья, будто он заранее знает, что над ним будут смеяться. Он жил через три

дома, с матерью и отчимом. Отчим пил, мать работала в магазине. Женька был самый младший в своей компании, и его там держали за своего, но чуть-чуть ниже, на полступеньки, как держат младшего брата.

Мы гуляли с ним недели три. Если это можно было назвать «гуляли». Сидели вечером на брёвнах, ходили к реке, однажды он поцеловал меня у бабушкиного забора, быстро, неловко, мимо рта, и убежал. Я стояла у забора и трогала щёку, куда попало. Мне казалось, что это и есть то самое, о чём пишут в журналах для девочек, которые мама не разрешала покупать.

А потом, за неделю до моего отъезда, он перестал подходить.

Просто перестал. Сидел на брёвнах с пацанами, курил, смеялся, а когда я подходила, смотрел мимо. Не грубо, а так, словно меня там нет, словно я пустое место между двумя людьми. Рядом с ним снова появилась Ленка Сычёва. Ленка, у которой раскрывался рот от моего дельфина.

В последний вечер я сама отозвала его за клуб.

— Я завтра уезжаю.

Он посмотрел на меня, и я впервые увидела его как бы изнутри. Ему было неловко, скучно и немножко жалко меня, и под всем этим лежало облегчение: всё, кончилось. Я тогда не знала, что умею так видеть. Я думала, это у всех.

— Пока, — сказал он.

И отвернулся.

Потом мне рассказали, что Ленка была его девушкой до меня, и бросила его ради парня из соседней деревни, и он гулял со мной, чтобы она увидела. Она увидела. Я была инструментом, как отвёртка.

Я должна была уехать на следующий день.

Ночью у меня поднялась температура. Под сорок, бабушка мерила ртутным градусником и долго держала его на свету у окна, не веря цифре. Я не помню, как прошли следующие три дня. Помню ковёр. Узор на нём шевелился. Королева сошла со своего места и медленно прошла по стене, волоча подол, через всю бордовую гладь, к шуту, и что-то ему сказала, и шут засмеялся, и бубенцы зазвенели, мелко и противно, как зубы стучат. Обезьяна повернула ко мне голову и показала, что у неё за спиной, но я не успела разглядеть. Рыбы плыли друг к другу всё быстрее и быстрее, и я кричала им, что сейчас, вот сейчас, ну пожалуйста. Не встретились.

Бабушка сидела рядом. Клала мне на лоб полотенце с укусом, переворачивала холодной стороной. Не говорила ничего. На третью ночь, когда жар спал и я впервые увидела потолок, а не узор, она сказала, глядя куда-то мимо меня, на ковёр:

— Из-за мальчишки так гореть. Вся в мать.

Я не поняла, что она имеет в виду. Мама не горела ни из-за кого. Мама была холодная, как лампочка в подъезде.

На четвёртый день я уехала. В автобусе я прислонилась головой к стеклу и смотрела на поле, и думала, что больше

никогда в жизни. Никогда в жизни я не дам никому сказать мне «пока» так, как он сказал. В следующий раз «пока» скажу я.

Дома мама встретила меня на остановке. Посмотрела на меня, похудевшую, бледную, и спросила:

— Ну, чего такая?

— Болела.

— Чем?

— Не знаю. Температура.

Она кивнула, как будто это всё объясняло, и мы пошли домой. По дороге она курила и рассказывала про соседку, которая опять что-то не то сказала на лестнице. Я слушала и смотрела на её профиль. У неё была ровная красивая скула и маленькая родинка под ухом. Я подумала: вот бы она спросила ещё раз. Ну, чего такая. Я бы, может быть, ответила по-настоящему.

Она не спросила.

Глава 5. Ленты

Утро у меня начинается с Кейва, а продолжается Джейн.

Я ещё не открыла глаза как следует, а палец уже листает. Это как почистить зубы: не думаешь, делаешь. Джейн выкладывает рано, потому что у неё во Франции на час меньше, а дети встают в шесть, и к семи у неё уже есть первый кадр. Сегодня это кухня. Деревянный стол, на столе абрикосовый пирог, ещё в форме, вокруг три детские руки тянутся к нему с трёх сторон, и сверху её рука с ножом, загорелая, с тонким золотым браслетом. Подпись по-французски и по-русски: «Утро, которое пахнет летом, даже в октябре».

Я ставлю лайк. Потом смотрю на свою кухню: белая, пустая, на столе чашка, в чашке овсянка с голубикой, которую я сфотографировала вчера и не выложила, потому что голубика легла некрасиво.

Джейн жила за стенкой. Наши двери на площадке были друг напротив друга, её обита коричневым дерматином с золотыми гвоздиками, наша просто покрашена. У них пахло пирогами и стиральным порошком, у нас пахло чем придётся. Её папа носил её на плечах до третьего класса, и я видела это из окна, как видят кино. Её мама говорила с ней тем голосом, каким говорят по телефону с кем-то очень важным. Летом они ездили на море, каждый год, и привозили мне ракушку. У меня была целая банка ракушек из Джейниных мо-

рей.

Мы с ней дружили так, как дружат соседи: потому что дверь напротив. Я приходила к ним делать уроки, она к нам почти никогда. Однажды пришла, посидела полчаса на краешке дивана и сказала, что у нас странно пахнет. Потом её мама позвонила и сказала, чтобы она шла домой, что уже поздно. Было шесть вечера.

Джейн, кстати, по паспорту Жанна. Но с тех пор как она уехала, все зовут её Джейн, даже её мама, и она сама уже не откликается на Жанну. Она как будто родилась второй раз, в другой стране, с другим именем. Мне иногда кажется, что именно этому я у неё и завидую. Не абрикосам. Тому, что у неё получилось.

Теперь она живёт под Лионом в доме с синими ставнями. Муж француз, инженер, у него мягкая борода и глаза человека, который никогда не повышал голос. Трое детей: Леон, Камилла и маленький Тео. Дети, кстати, говорят по-русски с ужасным акцентом, и Джейн выкладывает это как милоту, а мне каждый раз хочется написать ей, что это не мило, это потеря. Я не пишу.

У неё сорок тысяч подписчиков. Она пишет про «медленную жизнь», про рынки, про лавандовые поля, про то, как важно «быть, а не казаться». Последнюю фразу я перечитала однажды раз десять, и каждый раз мне хотелось засмеяться в голос.

Меня Джейн бесит. Я смотрю её каждый день. Это не про-

творение, это ремесло.

Самое невыносимое в ней то, что у неё всё по-настоящему. Я проверяла. Я умею проверять людей и через экран, это сложнее, но можно: по тому, как они смотрят в камеру, по тому, где кадрируют, по тому, что не попадает в кадр. Так вот, у Джейн в кадр не попадает ничего страшного. Там правда пирог. Там правда муж с бородой. Дети правда смеются, а не по команде. Она живёт ту жизнь, которую показывает, и показывает её чуть хуже, чем живёт. От этого хочется разбить телефон.

Хотя иногда, на самых ровных её фотографиях, я вижу маленький шов. Вот как сейчас: три детские руки, пирог, а Джейн в кадре нет. Только её рука с ножом. Она снимает себя всё реже. Я не знаю, что это значит, и не хочу знать: тогда придётся её пожалеть.

Когда я выбираю, куда поехать в отпуск, я сначала открываю её профиль и смотрю, где она была. Потом ищу место, где её не было. Это сложно: Джейн была почти везде. Потом я ищу тур. Пролистываю все, где написано «русскоговорящий гид», «группа из России», «трансфер с русским сопровождением». Мне нужна группа, где я буду Анна, без отчества. Где никто не спросит меня с той интонацией, с какой спрашивают в очереди на почте: «А вы откуда сами?»

Так я и езжу. Исландия, где я неделю шла через лавовые поля и ни разу не услышала русскую речь. Непал, трек к базовому лагерю, высота, на которой в голове звенит, а мысли

кончаются. Марокко, ночь в пустыне, звёзды так низко, что неловко. Камчатка, где вулканы курят, как мужики у подъезда. Фьорды в Норвегии. Перу, Мачу-Пикчу в облаке, которое так и не рассеялось. Япония осенью, когда все фотографируют клёны, а я фотографировала пустые станции.

В прошлом году я выбрала Патагонию. Я была уверена: туда она не доехала. Трое детей, Патагония, это же нереально. Я летела двадцать девять часов с двумя пересадками, жила в палатке у ледника, шла по тропе с канадцами, двумя немками и молчаливым японцем, который каждый вечер варил мне чай из своего термоса. Я была Анна. Я смеялась, как смеются британки в моём подкасте. Однажды вечером немка сказала, что у меня очень спокойное лицо. Я запомнила это, как запоминают комплимент от врача.

Через десять минут после того, как я выложила фото у ледника, пришло сообщение.

«Ооо, Патагония! Мы там были в прошлом году, я так и не успела выложить фотки, вообще было некогда, столько контента, ты не представляешь. Перито-Морено просто вау, да? Мы на лодке подплывали, дети визжали!»

Я стояла перед ледником, перед этой бирюзовой стеной, огромной, трескучей, которая была старше всех моих бабушек, вместе взятых, и чувствовала, как он уменьшается. Становится открыткой. Она там была. С детьми. На лодке. И не выложила, потому что у неё столько всего, что Патагония не влезла.

Я ответила: «Да, вау! Здорово, что вы тоже!» И поставила три сердечка.

Лёд на Перито-Морено в тот вечер трещал, отламывались куски размером с дом и падали в озеро с грохотом, как будто кто-то рушит мебель в соседней квартире. Канадцы аплодировали каждому куску. Я не аплодировала. Я думала, что Джейн видела это раньше меня.

После Джейн я открываю свои сторис. Вчерашняя, с пальто, висит уже почти сутки. Сто двенадцать просмотров. Я пролистываю список. Марина из юридического. Кристина. Олег Викторович, неожиданно. Пара бывших однокурсниц. Тимура нет, Тимур не смотрит сторис, считает это ниже достоинства.

И в самом конце, как всегда, «Cinderella».

Это Сидни. Я это знаю так же точно, как знаю, когда мне врут. Без фотографии, без постов, без подписчиков. Пустой профиль, белая аватарка. Аккаунт создан четыре года назад и ни разу ничего не выложил. Он только смотрит. Он смотрит все мои сторис, всегда, иногда в два часа ночи, иногда в шесть утра.

У «Cinderella» пустой профиль, а значит, и жизнь пустая. Если бы было что выложить, она бы выложила. Сидни всегда выкладывала. Сидни снималась у каждого зеркала, в каждом лифте. Если теперь у неё нет ни одного кадра, значит, кадрировать нечего. Красота кончилась, папики кончились, осталось смотреть на меня.

Каждый раз, когда я вижу «Cinderella» в списке, у меня внутри что-то тихо, по-кошачьи, мурлычет.

Сегодня воскресенье, и я выкладываю ещё одну сторис: пальто на мне, у окна, Москва внизу как разлитое золото. Без подписи. Подпись тут лишняя.

Выкуси, Сидни.

Потом мне становится стыдно, ненадолго, секунды на три. Потом проходит.

В середине дня мне пишет Джейн. Не в комментариях, а в личку, что бывает редко.

«Анечка, какое пальто! Ты прямо Москва-Москва. Всё одна? Ну ты молодец, свобода, я тебе иногда так завидую. У меня тут трое на голове и муж с давлением. Поцелуй!»

Я читаю её три раза. «Всё одна?» с вопросительным знаком, хотя это не вопрос. «Ты молодец» как похлопывание по плечу. «Я тебе иногда так завидую» как конфета, которую дают ребёнку, чтобы перестал плакать. И муж с давлением, который должен меня утешить. Вот, у неё тоже не всё идеально.

Я отвечаю: «Ага, свобода! Целую твоих!»

После обеда я иду гулять, просто так, без цели, по бульварам. На манекене в витрине на Никитской висит кофточка. Тонкий трикотаж, мятно-зелёная, с белым воротничком и маленькими перламутровыми пуговками. Я останавливаюсь, будто меня окликнули.

Такая кофточка была у Джейн. В пятом классе. Ей привез-

ла тётя из Польши, и Джейн пришла в ней первого сентября, и вся параллель смотрела на эти перламутровые пуговики. Я тоже смотрела. Я весь день сидела рядом с ней на линейке и думала, что если она даст мне её поносить хоть на один день, я стану другим человеком. Она не дала. Я и не просила.

Я захожу в магазин. Кофточка стоит как неделя в Анапе. Я её покупаю. Продавщица спрашивает, нужен ли пакет. Ну-жен.

Дома я вешаю её рядом с пальто. Пальто и кофточка, табак и мята. Взрослая женщина и девочка из пятого класса висят на одной дверце. Кофточка мне маловата в плечах. Я её не верну.

Вечером я снова открываю блог Джейн. Новый пост: дети спят, вино в бокале, плед. Я ставлю лайк. Перед сном проверяю сторис. Пальто у окна посмотрели двести четыре человека. «Cinderella» среди них, одной из последних, в одиннадцатый сорок.

Я засыпаю почти счастливой.

Глава 6. Тишина

На следующее лето Женька подошёл ко мне сам.

Я не ждала. Я ехала в деревню с готовым лицом: равнодушным, чуть насмешливым, лицом девочки, которой всё равно, кто там сидит на брёвнах. Я репетировала его всю зиму перед зеркалом в ванной, пока отец не начинал стучать в дверь. Я была готова пройти мимо Женьки так, как он прошёл мимо меня.

А он пришёл к бабушкиной калитке на второй день, с букетом ромашек, которые явно нарвал по дороге и наполовину помял, и сказал, глядя в землю:

— Прости. Я дурак был.

И я, конечно, простила. В четырнадцать прощают быстро, особенно когда просят с ромашками.

То лето было хорошее. Самое ровное лето в моей жизни. Женька изменился: вытянулся, перестал смотреть исподлобья, научился смешно шутить. Мы ездили на велосипедах на дальнее озеро, жгли костры, он читал мне вслух какую-то фантастику про космос, сбиваясь на длинных словах. Он держал меня за руку на дискотеке и не отпускал, даже когда пацаны свистели. Я была ему нужна. Не как отвёртка, а как человек.

Когда я уехала, он писал мне письма. Настоящие, на бумаге, в конвертах с марками, потому что телефона у меня

своего не было, а домашний я ему не дала. Писал коряво, с ошибками, про погоду, про корову соседки, про то, что ждёт лета. В конце каждого письма рисовал рожицу. Я хранила их в коробке из-под маминых сапог под кроватью. Читала по вечерам, когда в квартире было громко.

Всю зиму я ждала лета. Ждала Женьку. Мне казалось, что так и будет теперь всегда: город, где надо слушать шаги отца в подъезде, и деревня, где меня ждут.

А на третье лето я увидела Максима.

Женька ждал меня на остановке. Это было впервые: никто никогда не ждал меня у автобуса. Он стоял с той же своей улыбкой, загорелый, в новой футболке, и я видела, что он месяц думал о том, как я выйду. Он ждал чего-то огромного. Объятий, слёз, кино. Я вышла, обняла его, и всё было правильно. Всё было как надо.

А вечером на брёвнах у клуба сидел Максим.

Максима знали все. Ему было семнадцать, он приезжал к деду на лето из райцентра, и девочки из трёх окрестных деревень ходили на дискотеки в наш клуб, чтобы на него посмотреть. Высокий, тёмный, с широкими плечами и спокойными руками. Он мало говорил. Он не выпендривался, как остальные пацаны, не матерился, не плевался сквозь зубы. Он просто сидел, и вокруг него было тише. Тем летом он гулял с Наташкой из соседней деревни, красивой, длинноногой, на два года старше меня.

Мне Максим ничего не сказал в тот вечер. Он кивнул, ко-

гда меня представили: «а это наша городская». Кивнул и посмотрел. Секунду. И у меня в голове стало тихо.

Я не знаю, как это объяснить. Всю жизнь, сколько себя помню, у меня в голове как будто работает радиоприёмник, который ловит все станции сразу. Чужая злость, чужая скука, чужой страх, чужие мысли о том, что я странная. Я привыкла к этому шуму, как привыкают к трассе за окном. А Максим посмотрел, и шум выключился. Не совсем, но почти. Его самого почти не было слышно. Его настроение было ровное, простое, как гладкий камень. Его не надо было считать, предугадывать, обходить. Рядом с ним можно было просто быть.

Женька понял всё раньше меня. В тот же вечер, когда мы шли домой, он спросил:

— Ты чего?

— Ничего, — сказала я. — Устала с дороги.

Он посмотрел на меня тем старым взглядом, исподлобья, который я думала, что он забыл. В нём было всё: что он видел, как я смотрела на Максима; что он знает, что будет дальше; что он не верит, что это может быть правдой. Я этот взгляд потом видела много раз у разных людей. У должников, которые понимают, что сейчас с ними сделают.

А в середине июля Максим расстался с Наташкой.

Я не знаю, почему. Говорили разное. Я не спрашивала. Я пришла на дискотеку в субботу, в бабушкином сарафане, который сама ушила, и он подошёл ко мне через весь зал. Не

сказал ни «привет», ни «как дела».

— Потанцуем?

Остаток лета я была его девушкой.

Женьке я ничего не объясняла. Я просто перестала выходить, когда он стучал в калитку. Один раз вышла, и он стоял там с какой-то запиской, мятой, сложенной вчетверо, и я сказала: «Жень, не надо». И закрыла калитку. Я сделала это быстро, одним движением, как отрывают пластырь. Тогда мне казалось, что так честнее. Он ведь сам научил меня, как говорят «пока».

С Максимом я была королевой. Я не знаю, как это сказать иначе. Он за мной присматривал. Без него я никуда не ходила, а если ходила, кто-нибудь из его друзей оказывался рядом, как будто случайно. Все знали, что я его девушка, и это знание лежало на мне, как дорогое пальто. Ленка Сычёва здоровалась со мной первой.

Мы ходили вечерами по деревне, по пыльной дороге между заборами. Он провожал меня до бабушкиной калитки каждую ночь и не уходил, пока в моём окне не загорался свет. Я специально стояла в темноте комнаты по минуте, по две, и смотрела в щель между занавесками, как он стоит у забора и ждёт. Потом включала свет. Он поднимал руку и уходил.

Однажды на реке я подвернула ногу. Глупо: прыгнула с мостков на камень, а камень оказался скользким. Лодыжка распухла сразу, как тесто. Я сидела на берегу и не могла

встать, и мне было стыдно до слёз, что я такая неуклюжая перед ним. А Максим ничего не сказал. Он просто взял меня на руки и понёс.

До бабушки было километра полтора, через всю деревню. Он нёс меня мимо магазина, мимо клуба, мимо Женькиного дома, и люди выходили смотреть. Я уткнулась лицом ему в шею, чтобы не видеть их лиц. Он пах солнцем, тиной и немного бензином от дедова мотоцикла. Я слышала его сердце, ровное, неторопливое, как будто он не нёс пятнадцатилетнюю дылду, а шёл налегке. Меня никто никогда не носил на руках. Даже маленькую. По крайней мере, я такого не помню.

Бабушка открыла калитку, посмотрела на нас, на мою ногу, на Максима.

— Неси в дом, — сказала она. — Клади на диван.

Потом, когда он ушёл, бабушка перевязывала мне ногу эластичным бинтом и сказала, не поднимая головы:

— Хороший парень. Не то что твои.

Кто «мои», я не спросила. Бабушка вообще никого не хвалила. Председателя она называла ворюгой, соседа пропойцей, участкового бездельником. А про Максима сказала «хороший» и ещё налила ему компота, когда он зашёл на следующий день провести. Сама. Из графина, который доставала только для гостей.

Потом были вечера на крыльце, пока нога заживала. Он приходил и сидел со мной на ступеньках. Мы почти не раз-

говаривали. Мы слушали, как в траве стрекочут кузнечики и как далеко, на другом конце деревни, кто-то колет дрова, и звук приходит с опозданием, после замаха. Было так тихо, что я слышала, как у меня в голове ничего нет.

Однажды он спросил:

— А дома у тебя как?

Никто никогда не спрашивал меня об этом. Ни в деревне, ни в городе. В деревне меня спрашивали «как там в городе», и я рассказывала про фирму отца и дельфинов. А он спросил про дом. Не про город, про дом.

Я открыла рот, чтобы рассказать. Про отцовскую фирму, про мамину администрацию, про комнату с телевизором. У меня всё было наготове, отрепетировано за два лета, сшито крепкими нитками.

— Нормально, — сказала я. — Как у всех.

Максим посмотрел на меня. Долго. Не так, как смотрят, когда не верят, а так, будто он знает. Будто он видел наш коридор, слышал, как хлопает дверь в одиннадцать вечера, видел, как я стою у окна и считаю до двадцати. И не стал переспрашивать.

Я тогда ничего не поняла. Я просто почувствовала, что ему соврать не получилось, хотя он мне поверил вслух. Это было новое ощущение, неприятное и тёплое одновременно, как когда тебя застают раздетой, а ты не стесняешься.

В последний вечер он отдал мне свою куртку, джинсовую, потёртую на локтях. Я замёрзла у клуба, а он заметил рань-

ше, чем я сама, и молча накинул мне на плечи. Не спросил, холодно ли мне. Просто отдал. Я забыла вернуть её. То есть сделала вид, что забыла. Я увезла её в город и спала под ней всю осень, пока она не перестала пахнуть бензином.

Он написал мне два раза. Короткие письма, без рожиц. «Привет, как дела, у нас уже снег. Летом приеду». Летом приеду. Я выучила эти два слова наизусть, как стихотворение, и повторяла их, засыпая, под джинсовой курткой, пока за стеной кто-то кричал.

Глава 7. Аптека

Это начинается с мелочи. Всегда с мелочи. Кто-то в очереди обернулся, кто-то засмеялся у меня за спиной голосом, похожим на голос из прошлого. Сегодня это был запах. Мужчина в лифте на тридцать втором, курьер с огромной коробкой, пах бензином и солнцем, хотя на улице октябрь и солнца нет с понедельника. Я вышла на своём этаже, а запах поехал дальше вниз, и я до вечера ходила за ним в голове, как ходят за мелодией, которую не можешь вспомнить.

Вечером у меня тридцать семь и пять. Обычное дело после трёх встреч подряд. Я выпиваю таблетку, укутываюсь в плед и разрешаю себе.

Аптека. Пусть будет аптека. Не модная, не та, что у меня на первом этаже дома, с белыми полками и кофейным автоматом, а обычная, на углу, с зелёным крестом, который мигает. Вечер, часов девять. Я стою в очереди с простудой. Нет, не с простудой: насморк некрасивый. С мигренью. Я покупаю что-то от головы и витамины, и у меня на плечах то самое пальто, табачное, длинное. Волосы распущены, немного растрёпаны ветром, но так, как растрёпывают в рекламе шампуня. Я выгляжу усталой, но красиво усталой. Женщиной, которая много работает и у которой есть причина болеть.

А за мной в очереди стоит мужчина. Я его не вижу, я чув-

ствую затылком: высокий, спокойный, ровный. Вокруг него тише, как когда-то у клуба. И у меня в голове выключается шум, весь, разом, будто кто-то повернул ручку.

Я расплачиваюсь. Поворачиваюсь к выходу.

— Аня?

Так меня называл только он. Все остальные звали Анька, Анна, Анна Сергеевна, Анпа. А он говорил «Аня», с ударением чуть протяжным, будто пробовал слово на вкус.

Я оборачиваюсь медленно, как в кино. Он почти не изменился. Седина на висках, морщины у глаз, но те же плечи, те же руки. Он смотрит на меня, как тогда на крыльце, и я понимаю, что он меня искал. Все эти годы.

Нет. Стоп. Искал, это слишком. Он просто узнал. Узнал и обрадовался. Этого достаточно.

Потом мы стоим на улице у аптеки, под мигающим крестом, и разговариваем. Я переписываю, что на мне надето. Пальто нет, пальто слишком нарочно. Пусть лучше будет что-то простое: джинсы, свитер грубой вязки, кроссовки. Будто я выскочила в аптеку из дома, как все нормальные люди, и не думала, что кого-то встречу. Нет, свитер с горлом скрывает шею, а шея у меня хорошая. Пусть будет пальто, но расстёгнутое, а под ним свитер. Да. Так.

Он спрашивает, как я. Я говорю: хорошо. Я говорю правду, потому что ему нельзя врать, и вдруг оказывается, что правда звучит нормально: у меня интересная работа, своя квартира, я много путешествую. Это всё правда, я проверяю

каждое слово, пока говорю. Он кивает. Он говорит, что часто вспоминал деревню. Что вспоминал, как нёс меня на руках. Что я была лёгкая.

Я не была лёгкая. Я была дылда с распухшей лодыжкой, и он нёс меня полтора километра. Но в фантазии можно.

Потом он провожает меня до дома. Пешком, хотя я живу далеко. Мы идём по Москве, и Москва вокруг нас вся в огнях, но перестаёт блестеть: она становится просто городом, как деревня становилась просто деревней. У подъезда он не заходит. Он стоит и ждёт, пока в моём окне на тридцать втором загорится свет.

На тридцать втором этаже это невозможно увидеть снизу. Я знаю. Но в фантазии можно.

А всю дорогу до дома он держит мою руку. Не сжимает, просто держит, как держат то, что боятся уронить. Ладонь тёплая, сухая, с мозолью у основания пальцев, и большой палец медленно гладит косточку на моём запястье, туда и обратно, будто стирает с неё что-то, что там давно. Я иду и не дышу. Мне тридцать пять, а внутри всё дрожит, как в пятнадцать на крыльце, когда он садился рядом и наши плечи почти касались. Почти. Это «почти» я помню двадцать лет.

Я открываю глаза. Белые стены. Картина. Королева смотрит на меня с выражением, которое при плохом освещении можно принять за насмешку. Шут, кажется, сейчас заговорит. Я отворачиваюсь от них к окну.

Потом я делаю то, что делаю примерно раз в неделю, хотя

обещала себе раз в месяц.

Максим. Фамилию я знаю, хотя никогда её не произносила вслух: в деревне его звали просто Макс или по деду. Я вбиваю её в поиск, имя, фамилию, год рождения. Город. Без города. Другой город.

Его нет.

Его нет ни в одной соцсети. Ни фотографии, ни страницы, ни случайного упоминания в чужом комментарии. Его нет на сайтах компаний, его нет в списках выпускников, его нет в базах, к которым у меня есть доступ по работе и к которым у меня не должно быть доступа по личным вопросам. Я однажды пробовала. Ничего. Человек, которого не существует.

Но я знаю, что он есть. Он просто не из тех, кто выставляет жизнь напоказ. Он не стал бы фотографировать завтрак и выкладывать подпись «Утро, которое пахнет летом». Ему это не нужно, у него всё внутри. Я в этом уверена так же, как в том, что Сидни пуста, раз у неё пустой профиль. Это разные вещи. У него пустота от глубины, у неё от нищеты.

Когда-то давно, после одного неудачного вечера, я придумала ему жизнь целиком, со всеми подробностями. Он военный. Нет, не военный, у военных другие глаза. Он инженер на заводе в райцентре, у него жена, полная, добрая, и двое детей, и по выходным он возит их на дачу на старом «Паджеро». Потом я эту жену стёрла: она была слишком добрая, мне стало её жалко. Потом он стал разведённым. Потом никогда не женатым. Потом он уехал на север, на вахту, и за-

рабатиывает там много, и молчит, потому что на севере все молчат. Я меняла ему жизнь, как меняют обои. Ни одна не приклеивалась.

От этой мысли мне становится неловко, и я её гоню.

Потом я делаю то, что проще. Я ищу не его, а всех вокруг него.

Серёга, его друг по деревне, тот, что всегда оказывался рядом со мной, когда Максима не было, как будто случайно. Серёга есть везде: в одной сети, в другой, в третьей. У Серёги жена Люба, трое детей, теплица с огурцами и привычка выкладывать по двадцать фотографий с каждого праздника. Наташка, та самая длинноногая, теперь Наталья Викторовна, бухгалтер, два брака, накачанные губы и кот. Ленка Сычёва, которая открывала рот на моего дельфина: живёт там же, в деревне, работает в том же магазине, где работала Женькина мать. Женька. Женька есть, но страница закрыта, аватарка с машиной, и я на неё не захожу. Не хочу.

Я листаю их жизни, как листают каталоги. Чужие свадьбы, чужие проводы в армию, чужие дни рождения на даче, где на столе селёдка под шубой и бутылка в центре. Мне стыдно, как подглядывать в замочную скважину, и одновременно приятно, как подглядывать в замочную скважину.

Семь лет назад Серёга выдавал замуж младшую сестру. Сто сорок фотографий в альбоме. Я пролиستала их все, тогда, в первый раз, и с тех пор возвращаюсь к одной. Сто двенадцатая. Общий кадр у ресторана, человек шестьдесят, кто-

то машет, кто-то жмурится. И в последнем ряду, сбоку, почти за краем, высокий мужчина в тёмном костюме. Он не смотрит в камеру. Он смотрит куда-то вбок, туда, где, наверное, кто-то что-то уронил. Плечи. Руки.

Я увеличила его тогда до пикселей. Его лицо распалось на квадратики, серые, бежевые, тёмные. В квадратиках можно было увидеть что угодно. Я видела его. Потом я увеличила его левую руку: мне надо было знать про кольцо. Рука распалась на пять квадратиков телесного цвета и один, может быть, чуть светлее. Может быть, кольцо. Может быть, блик от фары. Может быть, просто сжатие картинки.

Я сохранила эту фотографию себе в телефон. В отдельную папку, без названия. В ней одна фотография. Иногда я её открываю, увеличиваю и смотрю на светлый квадратик. Решаю, что это блик. На следующий день решаю, что кольцо. Это мой самый долгий и самый бессмысленный ритуал.

Сегодня я снова её открываю. Квадратик на месте. Сегодня он похож на кольцо, и мне от этого почти спокойно: значит, он счастлив, значит, у него всё хорошо, и не надо больше ждать. А через минуту я уже думаю, что кольцо могло остаться от развода. Люди иногда носят кольца после развода, по привычке, особенно мужчины, которым всё равно, что на руке.

Я знаю, что это ненормально. Тридцатипятилетняя женщина, руководитель отдела в крупном банке, увеличивает до пикселей руку человека, которого в последний раз видела

больше десяти лет назад, и то мельком. Я бы такую женщину пожалела. Если бы это был должник, я бы сказала: у неё нет плана, у неё есть только надежда, а надежда это не финансовая стратегия.

Но дело не в нём. То есть в нём, но не только. Дело в том, что рядом с ним было тихо. Я никогда и ни с кем больше этого не находила. Ни с одним мужчиной, ни с одной подругой, ни с одной песней, хотя песни ближе всего. Только с ним, на ступеньках бабушкиного крыльца, когда кто-то на другом конце деревни колол дрова, и звук приходил с опозданием.

Иногда я думаю: может, он тоже меня ищет. Где-нибудь сидит вечером и вбивает моё имя в поиск. И находит мои сторис, мои походы, моё пальто у окна. И радуется, что у меня всё хорошо.

А иногда думаю, что он меня забыл через неделю после того августа. И что это нормально. И что так даже правильнее.

Я засыпаю с телефоном в руке, с открытой фотографией, на которой серые и бежевые квадратики складываются то в лицо, то в ничего.

Глава 8. Выключатель

Всю зиму я готовилась.

Я купила новый купальник, чёрный, раздельный, на день-ги, которые копила с октября, откладывая сдачу с обедов. Я научилась красить ресницы так, чтобы они не слипались. Я прочитала два романа, где героиня встречается героя после разлуки, и выписала оттуда в тетрадку фразы, которые могли пригодиться. Я отрастила волосы до лопаток. Я подолгу смотрела на себя в зеркало в ванной и пыталась понять, что он во мне нашёл, чтобы этого стало больше.

Дома в ту зиму стало хуже. Отец вернулся из своей командировки другим и пил теперь не по пятницам, а когда придётся. Мама ходила по квартире так, будто под полом заложена мина. Я учила их настроения наизусть, как учат таблицу умножения: по звуку ключа в замке, по тому, как ставится на пол сумка, по тому, закрывается дверь в ванную тихо или с размаху. Летом приеду. Я повторяла эти слова, как повторяют номер телефона, чтобы не забыть.

Его не было в первую неделю.

Его не было во вторую. Дед его, кряжистый, глухой на одно ухо, копался в огороде, как обычно, и на мой вопрос через забор ответил: «А? Не знаю. Не звонил». Серёга пожал плечами: «Не знаю, может, поступает куда. Может, работает». Наташка из соседней деревни сказала, что видела его в

райцентре в мае, с какими-то пацанами на машине. Больше никто ничего не знал. Никто не удивлялся. Парень не приехал летом к деду, большое дело.

Он не приехал.

Не с другой, не с объяснением, не с прощальным письмом. Просто не приехал. Не написал. Не передал через Серёгу ни слова. Как будто его вычеркнули аккуратной линейкой, а остальной текст оставили.

Я ждала до середины июля. Каждый вечер ходила к клубу, в новом купальнике под сарафаном, с покрашенными ресницами, и садилась на край бревна, откуда видно дорогу. Пыль на дороге поднималась от каждой машины, и каждый раз я переставала дышать. Мимо ехали трактора, «Нивы», автолавка по вторникам.

Я ждала тех самых чувств, что были три лета назад, после «пока»: что поднимется жар, что ковёр оживёт, что я буду лежать и смотреть, как королева идёт к шуту. Я, кажется, даже хотела заболеть. Болезнь была бы доказательством, что это было по-настоящему.

Не началось.

Я лежала по ночам под ковром и смотрела на фигуры, и они стояли смирно, как приклеенные. Обезьяна держала руки за спиной. Рыбы смотрели друг на друга и не двигались. Внутри было пусто и сухо, как в бабушкином погребке в конце зимы.

На следующий вечер у клуба мне предложили выпить.

Не в первый раз, конечно. В городе я пробовала с одноклассниками за гаражами, из пластиковых стаканчиков: пиво, тёплое, горькое, потом какую-то наливку, от которой першило в горле. Тогда я пила, чтобы меня считали своей, и меня всё равно не считали. Здесь мне налили водки в стакан из-под горчицы, и разбавили лимонадом, и протянули: «Цаца, будешь?» Я взяла.

В этот раз всё было по-другому. Первый глоток обжёг. Второй ушёл вниз тёплым. А на третьем...

Стало тихо.

Не так, как с Максимом. С ним тишина была снаружи: он был спокойный, и всё вокруг становилось спокойным. А здесь тишина пришла изнутри, как будто во мне повернули ручку громкости до нуля. Я сидела на бревне среди пацанов и девчонок, и не слышала их. Не слышала, что Ленка Сычёва злорадствует. Не слышала, что Серёга меня жалеет. Не слышала, что Колька, который налил, хочет меня потрогать. Я слышала только музыку из клуба, и ветер, и как стакан стучается о зубы.

Это было как выключатель. Щёлк, и всё.

Я пила в то лето почти каждый вечер. Не чтобы напиться, а чтобы выключиться. Я быстро научилась находить нужный момент: третий стакан, иногда четвёртый, и потом остановиться, держать уровень, как держат на плите огонь под кастрюлей, чтобы не убежало. Я гордилась этим. Я была уверена, что контролирую. Другие блевали за клубом, я никогда.

Женька тоже был у клуба. Он вытянулся ещё, раздался в плечах, курил уже не прячась. С ним теперь гуляла какая-то девочка из райцентра, тихая, с крашеной чёлкой. Однажды вечером, когда я в очередной раз сидела на своём бревне с видом на дорогу, он подошёл, встал надо мной и сказал громко, для всех:

— Что, цаца, не приехал твой принц?

Пацаны заржали. Женька смотрел на меня сверху, и я впервые слышала в нём такую злость, густую, сладкую, давно копившуюся. Он ждал этого целый год.

Я отпила из стакана, посмотрела на него снизу вверх и сказала:

— А тебе-то что, Жень? Тебе-то и уехать некуда. Как всегда.

Он покраснел так, что это было видно даже в темноте. Потом развернулся и ушёл. Девочка с крашеной чёлкой побежала за ним. Пацаны снова заржали, теперь уже над ним. Мне было хорошо. Мне было тихо и хорошо.

Бабушка всё видела. Конечно, видела. От бабушки нельзя было ничего спрятать, она умела по походке определить, кто сколько выпил, она двадцать лет определяла это у мужиков на ферме.

В первый раз она ничего не сказала. Во второй посмотрела. А в третий, когда я вернулась в первом часу ночи и споткнулась о порог, она ждала меня в сенях с полотенцем в руке, мокрым, свёрнутым жгутом.

Она ударила меня по лицу. Потом по плечу, по спине, по рукам, которыми я закрывалась. Молча. Методично. Не больно даже, а обидно, как бьют не человека, а то, что в нём завелось. Я не плакала. Я стояла и смотрела на неё, и мне было интересно, что я почувствую. Я ничего не почувствовала. Водка ещё работала.

— Ты что ж, по стопам отцовским пошла? — сказала она, когда опустила полотенце. — Думаешь, я не вижу? Я вашу породу знаю. Ты на него посмотри, на папашу своего. Посмотри, куда он идёт. Туда же хочешь?

Я хотела сказать, что я не он. Что я контролирую. Что я сильнее. Я ничего не сказала.

На следующий день она меня не выпустила. Закрывает дверь на крючок снаружи, а окна в доме были маленькие, с двойными рамами, из таких не вылезешь. Я сидела в большой комнате под ковром и злилась так, что у меня горели уши. Бабушка ходила по двору, по огороду, кормила кур, и громко, для меня, разговаривала сама с собой: «Ишь ты. Цаца. Королева. Королевы-то не пьют». Вечером принесла мне картошки с укропом и молока и поставила на стол, не глядя.

Так прошло три дня. На четвёртый она откинула крючок и ушла на ферму, ничего не сказав. Дверь стояла открытая весь день, и я весь день не выходила.

Вечером я пошла к клубу. Мне налили. Я взяла стакан, подержала его в руке, посмотрела на мутную жидкость, на свет фонаря, который в ней дрожал. И вылила на землю. Ак-

куратно, тонкой струйкой, между носками своих кед.

— Ты чего? — спросил Колька.

— Не хочу.

И правда, не хотела. В тот момент я впервые поняла, что могу: вот так, сама, одним решением. Выключатель ведь работает в обе стороны. Это был мой первый большой секрет: я могу прекратить. Кто-то не может, отец не может, дед не может, а я могу. Я сильнее. Я этим очень гордилась, и гордилась долго, всю юность, и никто, ни бабушка, ни мама, ни я сама, не обратил внимания на то, что прекратить можно только то, что начала.

Бабушка заметила, конечно. Она ничего не сказала, только утром, когда я завтракала, поставила передо мной не одну, а две чашки молока. Это было её «ну».

В конце августа, когда я уезжала, она проводила меня до калитки. Дальше не пошла. Посмотрела на меня долго, сверху вниз, и сказала:

— Не пей, Анька. У вас это в крови. Не у тебя одной, у всех ваших. Мать твоя хоть не пьёт, да толку. Хоть ты будь умнее.

Я не поняла, при чём тут мама. Я подумала, что бабушка путает, она старая. Я кивнула и пошла к остановке.

Это было последнее лето в деревне. Следующей весной бабушки не стало. Мне не сказали, от чего. Мне сказали, что на похороны мне не надо, что нечего там делать, что я буду мешаться. Я не поехала.

В автобусе я смотрела на поле и думала о Максиме. Не со злостью, нет. Я его оправдывала. Он поступил куда-нибудь, он уехал далеко, у него не было адреса, у него не было времени, у него умер кто-то, у него сломалась жизнь, он не мог. Он не виноват. Он бы приехал, если бы мог. Я сложила это объяснение аккуратно, как бабушка складывала полотенце, и положила на самую верхнюю полку.

Глава 9. Механика

Корпоратив в честь тридцатилетия банка устраивают в конце октября, в ресторане на последнем этаже башни напротив нашей. Это специально: чтобы из окон было видно наши окна и все могли почувствовать, как высоко забрались. Дресс-код «вечерний», на приглашении золотом. Кристина неделю выбирала платье и в итоге выбрала то, в котором её невозможно не заметить из лифта.

Я хожу на такие вещи, как ходят к стоматологу: заранее зная, что будет, и стараясь не думать, сколько это продлится. Триста человек в одном зале. Музыка, которую никто не слушает, но все перекрикивают. Шампанское, которое все пьют. Я беру бокал с водой и долькой лайма. Так выглядит, будто у меня в руке джин-тоник, и никто не спрашивает. Это важно: никто не должен спрашивать.

Председатель говорит тост. Он хорошо говорит, коротко и с паузами, в которых зал успевает засмеяться. Он называет цифры и людей, и среди людей, в первой тройке, меня. «Наш сапёр». Триста человек поворачиваются в мою сторону, и я поднимаю бокал с водой, и на меня обрушиваются триста настроений одновременно: зависть, скука, восхищение, раздражение, желание. Как будто открыли все краны в доме разом. Я улыбаюсь. Это у меня хорошо получается.

После одиннадцати люди начинают расползаться по уг-

лам. Мужчины к бару, к сигарам, к разговорам о машинах и чужих должностях. Женщины к диванам у окна. Я обычно ухожу в это время. Сегодня меня перехватывает Кирилл.

Он подходит с двумя бокалами, один протягивает мне.

— Анна Сергеевна, можно на минутку?

— Можно.

— Вы вообще не пьёте?

Я смотрю на него. Он немного пьян, на один бокал больше, чем надо, чтобы быть смелым, и на два меньше, чтобы быть честным. Под вежливостью у него что-то колючее и упругое. Ему не интересно, пью ли я. Ему интересно, где у меня шов. Он ищет его уже три месяца. Он чувствует, что шов есть, и это его бесит, потому что сам он сшит грубо и криво, и это видно с порога.

— Кирилл, — говорю я, — вы что-нибудь слышали про личные границы?

Он моргает. Потом смеётся, как будто я пошутила. Я не шутила, но пусть. Он ставит мой бокал обратно на поднос официанта и уходит, оставив за собой запах дорогого парфюма и мелкой, тщательно спрятанной обиды. Я делаю пометку в голове, как в блокноте. Однажды он придёт за мной. Не сегодня.

Потом меня зовут на диван. Марина, Оля из юридического, две девушки из казначейства, имён которых я не помню, хотя должна. Они уже на той стадии, когда разговор сползает с работы куда-то ниже.

Разговор, как всегда на этой стадии, про мужчин.

— У меня последний раз был в мае, — говорит одна из казначейских, худая, с острыми ключицами. — В мае! Я посчитала вчера и прифигела.

— Полгода? Да ты святая, — смеётся Оля. — Я бы на стенку полезла.

Они смеются. Марина смеётся вместе с ними, но я слышу, что у неё с мужем, который ищет себя, давно ничего нет, и она давно не считает. Оля рассказывает про нового, из спортзала: двадцать восемь лет, плечи, ничего в голове. «Но мне и не надо в голове, мне надо, чтобы голова отключалась, понимаете? Вот чтобы вообще ничего не думать, только тело». Они визжат. Худая из казначейства говорит, что у неё с бывшим было так, что она однажды расплакалась, потому что это было слишком хорошо.

— Анна Сергеевна, а у вас? — спрашивает Оля. Она пьяна и потому храбрая. — Вы же такая... Ну. У вас точно кто-то есть.

Четыре пары глаз. Я чувствую, как им любопытно, и как они заранее чуть-чуть меня боятся, и как Марина хочет, чтобы я не отвечала, потому что ей станет неловко за Олю.

— Есть один, — говорю я. — Молодой. Красивый. Молчаливый.

Они визжат снова. Худая хлопает в ладоши. Оля говорит: «Ну вот! Я же знала!» Я улыбаюсь и делаю глоток воды с лаймом, как будто это джин.

— Завидую, — говорит Оля. — Наверное, у вас там голова отключается полностью.

И я замолкаю.

Потому что у меня голова не отключается. Никогда. Ни разу. Я лежу рядом с Ромой, и я слышу его. Слышу, когда ему хорошо, когда он устал, когда хочет, чтобы я сделала вот так. Я делаю. Я хорошо делаю, я внимательная, я быстро учусь. Это как на переговорах: считываешь, подстраиваешься, ведёшь. Мне нравится, что ему нравится. Это приятно, как приятно, когда должник подписывает график. Но голова у меня работает всё время, от первой секунды до последней. Как диспетчерская в аэропорту.

Если честно, я не помню, чтобы когда-нибудь было иначе. Секс у меня был механикой всегда. Хорошо отлаженной, надёжной, как немецкий двигатель. Я знаю, где нажать и когда отпустить. Я знаю, какое лицо сделать в какой момент. Я никогда не плакала оттого, что слишком хорошо. Я не знаю, о чём говорит худая из казначейства. Я знаю это так, как знаю про Патагонию до того, как туда прилетела: по чужим фотографиям.

Чего не было, так это эмоций. Ни разу на эмоциях, ни разу по любви. Одно исключение, и о нём я не люблю думать: после ссоры. После очень плохой ссоры, когда всё уже позади, и человек плачет, и просит прощения, и ты его прощаешь, и тогда тело вдруг включается целиком, как свет в подъезде. Только тогда. Это был не тот человек, с которым такое мож-

но вспоминать с нежностью.

И я вдруг, сидя на этом диване, между Олей и худой, перебираю их всех, как перебирают квитанции в ящике. Стас из института, который пах мятной жвачкой и чужими духами. Лёша, одна ночь, о которой лучше бы не помнить. Влад, четыре года, о которых лучше бы не помнить ещё сильнее. Антон, при котором я единственный раз сняла лицо и пожалела. Дима из моего отдела, женатый, о котором лучше не вспоминать. Рома, у которого руки в ожогах от глушителя.

У меня нет типажа. Подруга по институту когда-то спрашивала: «Тебе какие нравятся?», и я не знала, что ответить. Мне не нравились никакие. То есть нравились все понемногу: этот красивый, этот смешной, этот удобный, этот молчит. Я не выбирала, я брала то, что лежит ближе. Как будто все они были временными. Как будто я коротала время в зале ожидания, листала журналы, пила кофе из автомата, разговаривала с соседями по креслам. Пока не объявят мой рейс.

Но об этом я, конечно, не говорю на диване. Я говорю: «Девочки, мне пора, у меня завтра комитет в девять». И Оля машет мне рукой, а худая говорит: «Анна Сергеевна, вы клёвая, правда». И я знаю, что она так думает, по крайней мере сейчас, и мне становится от этого почему-то грустно.

Такси останавливается у моего дома в половине первого. Водитель, пожилой, с усами, всю дорогу слушает радио «Шансон» и тихо подпевает. Я не прошу выключить. Я слушаю, как он фальшивит, и думаю, что он, наверное, совсем

один, раз так громко подпевает в машине. Я оставляю ему чаевые больше, чем стоит поездка.

Дома я снимаю платье, смываю лицо и долго сижу на краю ванны в халате. Пояс завязан двойным узлом, я всегда завязываю двойным, с детства. В зеркале напротив женщина без косметики, с бледными губами и бирюзовыми глазами, которые в ванном свете кажутся почти зелёными.

Я однажды прочитала, что люди с сильной эмпатией редко получают удовольствие в постели: слишком заняты чужим. Я тогда подумала: ну вот, всё объясняется, это не я, это особенность. Как цвет глаз. С особенностями не спорят.

Единственный, с кем я могу представить по-другому, это тот, с кем ничего не было. Мне было пятнадцать, он проводил меня до калитки и ждал, пока загорится свет. Он ни разу меня не поцеловал по-настоящему, только однажды, в последний вечер, коротко, у забора, и пах бензином. Но когда я думаю о нём, я думаю, что вот там бы голова отключилась. Вот там было бы тихо. Вот там я бы, наверное, могла расплакаться оттого, что слишком хорошо.

Я встаю, выключаю свет в ванной и иду в спальню. В гостиной горит лампа. На картине шут смотрит на меня, приподняв колпак, и мне кажется, что он смеётся. Не зло. Скорее, как смеются над ребёнком, который рассказывает взрослым про свою будущую свадьбу с принцем.

Глава 10. Чужое детство

Кухня на тридцать втором этаже это нейтральная территория. Здесь нет должностей, только кофемашина, микроволновка и холодильник, в котором у каждого своя полка, подписанная маркером. Здесь младший аналитик может пожаловаться начальнице на свекровь, а начальница может сделать вид, что у неё тоже есть свекровь. Я захожу сюда за чаем раз в день, в половине четвёртого, когда в голове уже гудит от звонков, а до конца ещё далеко.

Сегодня здесь Марина, Кристина и Настя из аналитики, двадцать шесть лет, круглые очки, недавно вышла замуж. На столе коробка с пирожными: у Насти день рождения. Меня усаживают, суют эклер и спрашивают, как у меня дела, тем голосом, каким спрашивают начальство, которое внезапно оказалось за общим столом.

Разговор идёт про детство. Кристина рассказывает про лагерь в Анапе, где она в двенадцать лет влюбилась в вожатого и целое лето носила ему яблоки из столовой. Настя рассказывает про дачу под Звенигородом, где дед держал пчёл, и её однажды покусали так, что она две недели ходила с лицом, как у хомяка. Марина рассказывает про бабушку в Рязани, которая пекла пироги с капустой и складывала их в эмалированный таз под полотенце.

— А у вас, Анна Сергеевна? — спрашивает Настя. — Вы

куда ездили летом?

И я начинаю рассказывать.

Мы каждое лето ездили на море. Каждый год, в июле, на машине, с папой за рулём, через полстраны. Папа пел в дороге песни из старых фильмов, мама подпевала, сбиваясь на высоких нотах. Мы останавливались в придорожных кафе, где подавали шашлык на бумажных тарелках. На море я собирала ракушки, целую банку каждое лето, и до сих пор, кажется, где-то эта банка стоит. Папа носил меня на плечах по набережной, я была уже большая, лет девять, а он всё равно носил, и все оборачивались. Мама говорила со мной таким голосом, каким говорят с кем-то очень важным. На даче у нас росли абрикосы, и мама варила из них варенье в медном тазу, и мне доставалась пенка.

Я говорю, и сама вижу. Набережную, банку с ракушками, мамину руку, снимающую пенку деревянной ложкой. Я вижу это так ярко, что у меня во рту становится сладко.

Марина улыбается, растроганно. Кристина говорит: «Ой, как классно, я тоже хочу такое детство». Настя вздыхает: «Вот у вас родители были, прямо как в кино».

— Прямо как в кино, — соглашаюсь я.

Потом, на середине фразы про абрикосы, я вдруг понимаю, чьё это детство.

Это Джейн. Это Джейн носили на плечах до третьего класса, это у Джейн была банка ракушек, только не банка, а несколько ракушек, которые она дарила мне. Это мама

Джейн говорила тем голосом. Абрикосов на даче у них не было, абрикосы сейчас у неё под Лионом, в утреннем посте про пирог. Я взяла её детство и её нынешнюю жизнь, перемешала, как тесто, и выложила на стол перед коллегами, и они его съели вместе с эклерами.

Я не останавливаюсь. Я заканчиваю фразу про пенку и смеюсь в нужном месте. Это неважно. Кому какая разница, чьё детство рассказывать на кухне на тридцать втором этаже? Они всё равно ничего не проверят.

Никто никогда не проверит.

У меня мало своих воспоминаний. Это я знаю давно. Больше всего у меня воспоминаний чужих, то есть рассказанных. Мне рассказывали, какой я была. Что до года я орала, не переставая, так, что соседи стучали в стену. Что я не ходила, а бегала, и только на цыпочках, и врач говорил, что это неврология, а мама говорила, что это характер. Что в четыре года я сбежала из детского сада, прошла через полгорода одна и пришла домой, и сидела на ступеньках у двери, пока не вернулся кто-то из взрослых. Всё, что мне рассказывали, было про то, какой я была трудной. Ни одного рассказа о том, как я смеялась.

А своё я помню кусками. Как будто кто-то разрезал плёнку и оставил случайные кадры.

Котлован. Мне пять. За домом рыли яму под фундамент, огромную, глубиной в два этажа, и вокруг стоял забор из сетки, в которой была дыра. Я стояла на краю, держа руки в кар-

манах куртки. Было холодно, весна. И я упала. Я помню, как мир перевернулся и замелькал: небо, глина, небо, глина, бо-тинок, небо. Я катилась долго. Внизу я встала, и руки у меня по-прежнему были в карманах. Я была вся в рыжей глине, с головы до ног, и ни одной царапины. Меня вытаскивали двое рабочих, ругаясь так, что я выучила несколько новых слов.

Если я долго, очень долго, кадр за кадром разглядываю это воспоминание, я вижу одну вещь. Я не поскользнулась. Я наклонилась вперёд. Сама. Мне было интересно, что я почувствую.

Велосипед. Мне семь. Мальчик постарше на велосипеде несётся по дорожке во дворе, и я стою у него на пути, и думаю: интересно, а сильно ли больно попасть под велосипед? И не отхожу. Две царапины на коленке и синяк на бедре. Мальчик плакал больше, чем я.

Оба раза я вышла целой. Оба раза это было похоже на опыт. На проверку. Что почувствую я. Как будто чужое я чувствовала всегда, а своё надо было добывать специально, вот так, с разбегу.

Ремень. Мне восемь или девять. Родители поругались, сильно, с битьём посуды. Потом отец ушёл и хлопнул дверью, а мама сидела на кухне, и я пришла к ней и сказала: «Мам, прости его». Мне казалось, что так правильно, так делают в фильмах. Она повернулась ко мне, медленно, и лицо у неё было такое, будто я её ударила. Она кричала, что я ничего не понимаю, что я вся в него, что это его порода. Потом взяла

ремень. Или я путаю, и ремнём меня били в другой раз, а в тот раз она только кричала. Эти два вечера у меня слиплись.

Кровь. Мне девять. У нас дома гости, друзья отца, четверо мужчин, все пьяные. Что-то случилось в коридоре, крики, грохот, кто-то упал на вешалку. Я выглянула из комнаты. Я помню кровь: на обоях, на линолеуме, на чьей-то белой рубашке, много, очень много, как в кино, которое мне не разрешали смотреть. Больше ничего не помню. Кто кого ударил, чем кончилось. Только этот цвет.

Лунатизм. Это повторялось. Я просыпалась стоя. То в комнате родителей, у их кровати, в темноте, и они смотрели на меня, сонные и злые. То на кухне, у окна. Меня трясли за плечи, и говорили: ты опять ходила. Я ничего не помнила. Я помнила только, как просыпаюсь: холодный пол под ногами и чьи-то руки на плечах. Мама говорила, что это от отца, что он в детстве тоже ходил. Его порода.

Вот и всё, что у меня есть. Котлован, велосипед, ремень, кровь, холодный пол. И нога в дверях, коричневый ботинок со стёртым носком. Шесть кадров. Остальное мне рассказали.

На кухне Настя говорит, что ей пора, у неё отчёт. Марина собирает со стола крошки в ладонь. Кристина фотографирует оставшиеся пирожные для сторис.

— Анна Сергеевна, а вы банку с ракушками сохранили?
— спрашивает она. — Ну, ту, с моря? Покажите как-нибудь.
— Не знаю, — говорю я. — Может, у мамы.

И это, кажется, единственное, что я сказала сегодня на кухне правдиво. Если банка где-то и есть, то только у мамы. Где-то в её доме, в её шкафу, в её жизни, куда мне нет хода.

Вечером я сижу перед картиной и пытаюсь вспомнить хоть одно лето на море. Своё. Хоть одно. Не получается. Получается только деревня, автобус, бабушка у калитки. Три месяца, каждый год, целиком.

Иногда я думаю, что от меня избавлялись. Отвозили, как отвозят мебель на дачу, когда в квартире ремонт. А иногда думаю, что деревня была единственным местом, где у меня было детство. Своё, не рассказанное. Я не знаю, за что я должна на маму обижаться: за то, что отправляла, или за то, что забирала обратно.

Глава 11. Хороший день

Сафронов звонит в понедельник, в десять минут десятого. Напрямую, на номер с визитки.

Голос у него низкий, сиплый, как у человека, который много курит и мало спит. Он долго извиняется, ещё не сказав, за что. Говорит, что был в отъезде. Я не перебиваю. Я слушаю, как он врёт про отъезд, и как ему от этого противно, и как под противностью у него лежит что-то упрямое, твёрдое, как гвоздь в доске. Он не злостный. Он просто сломан, и сам это знает, и это самое трудное в его положении: знать.

— Я понимаю, что виноват, — говорит он. — Я всё верну. Не сразу.

— Я тоже понимаю, — отвечаю я. — Давайте посчитаем, сколько вы можете не сразу.

Мы договариваемся за двадцать минут. Реструктуризация, пять лет, платёж меньше, чем он платил раньше, но больше, чем он думал, что сможет. Я слышу, как он пишет цифры на бумажке, нажимая ручкой так, что та рвётся. Я слышу, как у него из груди уходит что-то тяжёлое и на его место встаёт что-то лёгкое и испуганное, как воробей. Надежда. Самое ненадёжное, что есть у должника. Но сегодня этого достаточно.

Перед тем как попрощаться, он медлит.

— Дочка спрашивала, — говорит он. — Тётя, которая

приходила. Добрая она или нет.

Я молчу секунду.

— Скажите ей, что работа у тёти не очень добрая, — говорю я. — А сама она так себе. Средняя.

Он выдыхает в трубку смешок, хриплый, удивлённый. Мы прощаемся. Я кладу телефон и смотрю в окно. Внизу Москва, серая, мокрая, вся в машинах, как в муравьях. Мне хорошо. Мне так хорошо, что я почти этого не замечаю.

Это был хороший день. Я хочу его запомнить, потому что хорошие дни у меня случаются, но я их почти не узнаю. Они проходят мимо, как красивые незнакомцы на улице, а я понимаю, что это было, только когда они уже за углом.

В одиннадцать председатель вызывает меня к себе. Не по Сафронову, по квартальному. Цифры по моему отделу выше плана на двенадцать процентов. Он сидит за столом, большой, седой, в очках на шнурке, и листает распечатку так, будто читает хороший детектив.

— Анна Сергеевна, — говорит он, не поднимая головы. — Знаете, что я вам скажу?

Я знаю. Я чувствую, как у него внутри распирает удовольствие, редкое, медленное, которое он позволяет себе только при цифрах. Но я жду, пока он скажет сам. Это часть ритуала.

— Вы у нас ценный кадр. Я не люблю это слово, но другого нет. Продолжайте в том же духе.

— Спасибо, Вадим Петрович.

Он кивает и снимает очки. Смотрит на меня секунды две. В нём что-то шевельнулось, мне кажется, вопрос: всё ли со мной в порядке. Он чувствует, как старая лиса чувствует погоду. Но он не спрашивает. В нашем банке не принято спрашивать то, на что придётся слушать ответ.

В коридоре меня ловит Тимур.

— Сафронов?

— Сафронов.

— Перезвонил, — говорит он, и в этом слове всё: я же говорил, ты была права, хорошая работа. Тимур умеет хвалить одним глаголом.

Потом он засовывает руку во внутренний карман пиджака, достаёт оттуда конверт, плотный, кремовый, с золотой каймой, и протягивает мне. Чётки на запястье щёлкают.

— Это что?

— Свадьба. В декабре. Двадцатого.

Я смотрю на конверт. Внутри, я знаю, карточка с двумя именами, вензелем и адресом ресторана где-нибудь на Рублёвке, потому что невеста у Тимура из хорошей семьи и он неделю краснел, рассказывая, как познакомился с её отцом. Тимур смотрит на меня так, как он редко смотрит: прямо, без проверки на снайперов.

— Тимур, — говорю я. — Я не хожу на свадьбы.

— Знаю.

— И на похороны не хожу.

— Знаю. Я на всякий случай. Чтобы ты знала, что звали.

Я беру конверт. Я его не открою, но выбросить тоже не смогу. Он будет лежать у меня в ящике стола, под зарядками и пачкой визиток, до тех пор, пока я не сменю кабинет.

Почему я не хожу? Я никогда не формулировала. Просто там слишком много людей, которые чувствуют одно и то же, и это одно и то же наваливается на меня, как сугроб с крыши. На свадьбе все счастливы напоказ, и под показным счастьем у каждого своё: у матери невесты страх, у отца ревность, у подружек зависть, у жениха лёгкая паника. На похоронах все горюют, и под горем у каждого своё тоже. Я не могу. Я ухожу через двадцать минут с температурой. Проще не приходить. Так я себе это объясняю, и объяснение звучит хорошо.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.